

Ирина СОЛЯНАЯ

ГОРЮША КРАСНОПЕВКА

Поехал гончар на базар, лошаденка его споткнулась, горшки с телеги попадали. Я один поймал, а в нем сказка. Горшок себе взял, а сказку — вам отдам.

В старые годы жила в деревеньке у Выг-Озера семья. Имен их никто не помнит теперь. Бабка, отец с матерью да дочка с сынком. Мать козулей над работой согнулась. Отец был добр, да дома не жилал. А бабка — зла, да всегда рядом. Сын с утра до ночи в зыбке ныл, а дочка утешки ему пела.

Одной ночью пришла в избу Смерть. Переступила порог и обвела глазами красный угол, лавки под одеялами, печь, бабий кут с сундуками и прялкой. Бабка проснулась, ноги с печи свесила: «Ну, пришло мое время». Но Смерть подошла к лавке, где спала девчонка.

— Не тронь малую, — взмолилась бабка.

Смерть покачала головой и взяла невестку.

Наутро узнали детушки, что материнские руки холодны, испугались и молчат. Ни одной слезиночки не проронили. Пришли в дом плакальщицы и подголосницы. Детушки в угол забились.

— Хороша ж тебе, Прасковьюшка, доминушка,
Неказистая, неструганая, узкая.
Подумись-ко, встань, открой ты ясны глазыньки!
На кого же ты детей убогих бросила!
У престола Приснодевы Богородицы
Ты найдешь себе, Прасковьюшка, пристанище.
Ты-тко вниз хоть иногда на них посматривай,
Пролетай над головами белым облаком.

Смотрит бабка на внуку, глаз отвести не может: губы у девчонки шевелятся, каждое слово она запоминает и повторяет. Как мать на погост отнесли, стала дочка ходить на могилку. Нарвет цветов голубеньких, возьмет кусок пряника — матери отнесет. Ляжет на землю, воеет тоненько.

— Подумись-ко, встань, открой ты ясны глазыньки!
На кого же ты детей убогих бросила!

Бабка поначалу уговаривала её, а потом больно прибила, чтобы дорогу на погост малая забыла. Нечего душу рвать, да и работы дома много. Стала она сына подбивать жениться снова, но тот поначалу ходил смурной, пятый угол искал. А потом отвлекся, начался охотный сезон, надо было гуся, утку добывать. Некогда слезы лить.

Вроде бы материно лицо забылось, и платок ее беленый бабка износила. Но когда-нибудь найдет девчонка гребешок или моток ниток, прижмет к сердцу, а потом от бабки спрячет.

Бабка, когда в печи горшки ворочала, холсты белила, тесто для рыбников месила, все напевала. Песни те девчонка запоминала и повторяла шепотком, а голос показать боялась. Да и как петь, коли матери нет на свете. Слушать некому.

Как-то раз отец с полесниками ушел, а бабка на лугу траву рубила. Младшего внука дома под пригляд старшенькой оставила. Заплакал братик, басовитый, точно дьякон

на службе, стала девчонка зыбку качать, напевать. От голоса ее чистого, хрустального оторопь братца взяла, и приумолк он. Никогда таких песен не слышал. Вроде тихие, а звенят на всю округу. Как росинка на сосновой иголочке, повисла песенка в воздухе и сверкает. Бабка скоренько прибежала, а за порог переступить боится, ноги-руки отказали. Видит она, что с одной стороны зыбки ее внучка стоит, а с другой стороны — снова Смерть.

«Иди прочь, проклятая!» — хочется старухе крикнуть, а язык отнялся. А Смерть к девочке свои костлявые руки тянет.

— Нет! — крикнула бабка, и Смерть на нее оглянулась, усмехнулась и качнула зыбку. В глазах у старухи померк свет.

А девчонка знай себе поет, и в песне той слышится надгробный вопль. К вечеру меньшей внучок задышал тяжело. Заметалась по избе старуха, давай травы в котелок кидать, заговоры шептать. Не помогло. Недолго младшенький маялся, схоронили на второй день, как только отец с промысла вернулся.

Из соседней деревни пришли сродники, знакомцы. Не убоялись лихорадки, да и был интерес у них. Кто-то что-то слышал, кто-то что-то додумал. Бабка сыну своему всё на ухо нашептывала, кабы не песни, так бы внучка на погост не отнесли. А деревенские поддакивали:

— Разве ты не видишь, что в доме вопленица растет? Кто с утра поет, тот к вечеру воет. Она Смерть призывает.

— Дуры! — разбушевался отец. — Нашли кого виноватить! Не лихорадку, а шестилетку неразумную!

А дочка только глазами хлопала. Видела она темную тень, когда младшего братика в домине на холстах в могилу опускали. Но разве Смерть спрашивает, когда ей придать? Разве можно ее призвать? Но старших послушаться — грех великий. Не только петь, а и говорить перестала девчонка. Бабка на нее косилась. К себе и на шаг не подпускала, а все почерневшей иконе молилась.

В избе стало страшнее, чем на погосте. И стало дитятко от скуки ходить к озеру и безгласным рыбкам тихо-тихо песенки выводить. Голосок тонёхонький, точно Шишок на ореховой дудочке играет. А когда она у озера пела да плакала, то по верху всегда ворон кружил. Иногда сидел на иве, на ольху перелетал. Домой провожал, над махонькой головушкой в выцветшем платочке летел. Точно охранял сиротку и присматривал за ней.

Всякий раз, когда бабка ворона примечала, брала хворостину и охаживала без жалости девчонку. Не выдержал отец и стал с собой дочку на промысел брать. Когда она уставала за ним по тропе бежать, то сажал ее на закорки. И отец никогда дочку не журил за ее песни. «Только знай, когда на зверя идем, на тетерева или зайца, ты уж молчком сиди, ни гу-гу», — приговаривал он, и девчонка кивала и улыбалась.

Один раз с промысла вернулась девчонка одна в починок. Глаза выплаканные, рубашонка замусоленная.

— Тятю зверь задрал.

И больше ничего не вымолвила. Мать по покойнику не завывала, а спросила с прищуром:

— Как ты спаслась? Всё рассказывай.

— Меня черный ворон он зверя отбил.

Бабка велела девчонке молчать, а все ж таки люди прознали. Пришли и говорят:

— Разве ты не видишь, что она Смерти служит. Слышали, как по отцу воплет?

Да и как не услышать. Людей набилось в избу «лик ликом», а смотреть не на что. Ни домовины, ни тела истерзанного. Одна девка бьется в вопле.

— Я в горях загоревалася,
Я в тосках затосковалася.
Я осталась сиротинушкой,
Укрываюся холстинушкой.
За меня вступитья некому,
За спиной отца не спрятаться.
Нахожуся я босёшенька,
И наемся голоднешенька.
Уж в избе сижу холодная,
Стоит печенька пустехонька,
Принакоплено обидушки,
Принакладено кручинушки.

Молчат старики и старухи, бабы и девки подвывают, мужики крестятся. А из лесу идут по деревне да к избе собираются заюшки да горностаюшки-чирикаюшки. Слетаются рябчики, тетерева и мошники. Пообсели все ветки, а на самом толстом суку взгромоздилась черная ворона.

Староста сказал бабке:

— Зря ты внучку выторговывала у Смерти. Одну бы ее отдала, всех спасла. Твоя вина.

— Это дело божье, не тебе судить, — ответила бабка.

— Уходи и забирай свой послед, имя ей дай другое, и Смерть вас не найдет, — сказал рыбный колдун, который считал, что много знает.

Осерчала бабка, повыгоняла всех из избы. А ночью не спала, все ждала, что пустят красного петуха.

Наутро собралась, попросила соседа отвезти ее в дальний починок у Выг-Озера. Там стояла изба, тесом крытая, теплая.

— Уедем и Смерть из деревни увезем, — сказала бабка, — может, рыбный колдун и прав.

Поселились в избе, сор вымели, дров нарубили, хворосту натаскали. Бабка стала рыбу ловить, внучка морошку собирать. Никто не жаловался, но и песен не пел.

— Ты Горюша моя, — сказала бабка один раз, — ничего у тебя нет, даже имени.

Но девочка не заплакала, она каждый день со Смертью разговаривала и всё о своей судьбе уже знала. Перестал ворон прилетать, но заявлялся к ней полоз. Выходил из лесу волчище. Садился на елку филин. Ухала Смерть по-птичьему, свистела по-змеиному, рыкала по-звериному. Но девчонка слова запоминала:

— Быть тебе, Горюша, вопленицей. Судьба эта наградная. За все твои слезы и потери. Не вить такой птице гнезда, не жить своим домом, не рожать сыновей, не ткать по-неву, холстов не красить, сетей не вязать, щей не варить. А что взамен Смерть дает вопленице? Может, жизнь вечную, может, славу земную, может, богатство? Ничего того нет. Только Жизнь дарит, Смерть отбирает. И от тебя зависит, каков будет твой путь.

— Какой, какой? — спрашивает маленькая Горюша, а в ответ — уханье, карканье, свист и рык. Да иней по траве ползет-вьется.

— Я ко всем прихожу. Я освобождаю от пут мирских. Кому от болезни избавление, кому от бедности, кому от немощи. А вопленицу в каждый дом, в каждую деревню примут. Последний кусок отдадут, в ноги поклонятся. Без тебя ни рождение, ни крестины, ни свадьба, ни похороны не пройдут. Там, где горе — там ты. Там, где радость — снова ты. Но своего смеха и своих слёз тебе не увидеть.

— Почему же воплут на свадьбе и крестинах? — спрашивала Горюша.

— Невеста для прежнего мира умирает, для нового рождается. Роженица и дитятко на пороге двух миров стоят. Кто отпоёт их судьбинушки? Чьи слова на сердце моё лягут? Как споёшь — так и будет, я разрешаю тебе по земле ходить, след оставлять.

Но бабка о тех разговорах не знала и все считала, что Горюша беду приманивает и Смерти служит. Всё думала бабка, голову ломала: кому она дорогу перешла, почему ее послед порченый? Отчего родных могила проглотила, а сродники и знакомцы попрятались? Кто их семью проклял рождением вопленицы? И злоба цвела, как дурих-мянный багульник на болоте, питалась черною водой. Взглянет старуха на Горюшу, которая утро встречает с потешкой, а месяц с колыбельной, и зубами скрипит.

Девчонка растёт, в ум входит, уже рубашонку сменила на сарафан с нагрудником и передником. Смотрит бабка и не поймет: красива ли Горюша или только так кажется. Да и какая разница? Никто засыльщиков не пришлет на починок. И хоть смерти в деревне прекратились, староста не позволял бабке с внучкой вернуться.

Раз в летний день забрели на Выг-Озеро калики перехожие. Вели они старца, такого немощного, что ноги его сами дороги не находили, а глаза, заволоченные серой дымкой, смотрели не вперед, а назад.

— Знаем мы, — сказал один калика, — живет тут девица, которая Смерти служит. Помощи от неё ждем.

Бабка в дом непустила нищих, взяла на душу грех. Позвала Горюшу, и та вынесла рыбников и взвару. Первый кус — разбойник. Жадно похватили калики еду, ни одной крошки не просыпали.

— Не такая помощь нам нужна, — сказал калика, — Смерти ждём, но тихой, благословенной. Без доброго слова умирать наш Лукьян не хочет.

Отнесли его к ручью, положили на зеленый мох. Опустилась рядом с ним Горюша, взяла в горячие руки холодную ладонь старика.

— Ты скажи нам, смертушка залётная,
Когда ждать тебя в любимое гостбище...
В понедельник поутру ранёшенько
Аль во вторник по вечеру позднёшенько.
След не виден твой на полюшке чистёхоньком,
Ко селу летишь не соколом, а вороном,
Ты к порожку подбираешься, как заюшка,
А потом вползаешь в избу юрким полозом.
Стар и млад тебе от века покоряются.

*Стар и млад со светом Божиим прощаются.
Аль забыла ты Лукьяна Тимофеича,
Аль не любимый твой сыночек, свет-Лукьянушка?
Если нет у него матери и дочери,
Если нет у него женушки и любушки,
Обними его, несчастного, бродяжного,
Поцелуй его в уста заиндевелые.*

Стоит за осиной бабка, смотрит на внучку, а кулаки сами сжимаются и разжимаются. Вот она, прислужница Смерти. Так и до бабки доберется, кровушкой напитается.

«А разве ж я жила когда? Где мои шестнадцать лет-годов? Где мой первый сарафан с красной каймой? Где мой рушничок, петухами вышитый? Где мой Зосима кудреватый? Впереди только могила. Не хочу!» — подумала так бабка, закусил губу до крови.

Как похоронили Лукьяна у Выг-Озера, поставили ему крест на взгорке, так бабка и подошла к старшому калике.

— Заберите с собой лишний рот, дам как за невестой приданое, — шепнула она.

— Мы из погорельцев, и нам копейка не лишняя. Да только крещенные так не поступают, — укорил ее старшой.

— Сиротка она, найденныш, неслух окаянная, — соврала бабка, точно от себя грех хотела отвести.

— Как звать ее?

— Горюшей.

Девчонка ушла, бабке у порога поклонилась, а в ответ услышала, как скрипнула дверь в избе и засов грякнул.

Стала девчонка меж дворов ходить, чужой хлеб есть. Нарекли ее Краснопевкой. Третий раз крещение приняла.

Идут, бывало, к селу, а старшой скажет:

— Хорошее село, дружное. Всего три бани, стало быть, все друг к дружке в гости ходят, — а глянет на другое село и припечатает: — Тут староколенный староста живет, народ не баламутит, всякую досюльщину знает, учит. Нам тут не подадут, мы не по канону поём.

Но жаловаться каликам было грех, всюду ждали и приголубливали, потому что слава о Краснопевке пошла по Олонецкому краю. Никто и никогда дивного такого голоса не слышал. Особенно отпевание да задушевные сказки удавались Краснопевке. Потому всегда на ней был новый сарафан, зимняя душегрея, а кто и сапоги пожалует. Даже маломожная вдова глянет на сироту и отдаст последнее, чтобы через голос Краснопевки услышать про своего первенца, что в лесной чаще летось сгинул. И никто не знал, откуда девчонка берет слова правильные и кто её учит. А сама она об том помалкивала. Когда спрашивали, где её родители, кротко отвечала:

— Тятю зvirь задрал, а мать свою я не помню.

Раньше калики были сыты крупницей, пьяны водицей. Теперь рядом с Краснопевкой плечи расправили. Подавали хорошо, привечали и того лучше. Можно было бы в тихом месте поселиться, но Краснопевку точно ветер в спину подгонял. Долго на одном месте не сидела. В дороге выросла, на чужих свадьбах радости испила, на чужих похоронах от горя отхлебнула. Не трогало ее сердце ничего. Глаза ее одинаково светлы были, когда воплем над гробом исходила и когда невесту фатой укрывала.

Девка выросла красавицей, только никто к ней засыльщиков не отправлял. Знали повсюду, что не для мира этого Краснопевка. Её дом — дороги пыльные, постель — весенняя снеговая квашня да рыхлый лед на Двине, радость её — летняя теплая морось.

— Я больше крестин и поминок отпела, чем иной поп, — говаривала Краснопевка, — и милостыня людская — это милость Смерти. Хранит она меня, сколько раз могла к себе забрать. Да видно, заберет, когда другая Краснопевка родится.

Про бабку не вспоминала никогда, в почиток на Выг-Озеро не заглядывала. Никто и не спрашивал, станет ли Краснопевка вопеть над холодным телом единственной сродницы.

Но как-то ранним утром, когда только горлопан-петух отслужил свой канон, Краснопевка проснулась в чужой избе, вышла на двор и лицо обратила на восток. За сто вёрст отсюда встала такая же заря над Выг-Озером, как и здесь. И стон там далекий над болотами прерывался карканьем воронья. А в своей избе металась старуха, горло драла ногтями, и все чудилось ей, что на подоконнике ворон сидит и дерево клюет.

— Кыш, кыш, — хрипела старуха, а ворон тяжело крыльями хлопал.

Тут же дверь избы отворилась, и вошла высокая статная черница.

— Для чего живешь? В зыбках правнуки не пишат.

— Что ты ходишь? — ощерилась старуха. — Нет тут Горюши, некого тебе приголубивать. А я тебе не дамся.

— Развлечение мне, любо смотреть на тех, кто мне не покоряется. В этой избе тебе век не умереть. Даже если просить станешь.

Ушла черница, оставила дух ладана и смиры. И гуще он становился с каждым днем, сколь окон ни отворяй, хоть двери с петель сорви. Старуха и на крыльце спала, и на камне, и на могиле Лукьяна. И ходили к ее дверям зайцы, лисы и песцы. Проверяли, насовсем ли изба опустела. Потом стали являться люди, по которым отпето уже давно. Муж, невестка, сын, внучок. Соседская девчонка, сам сосед. Все те, чьи имена за давностью истерлись на крестах погостов.

Бабка еще десять лет жила. И все десять лет ходили к ней день в день то ли духи бесплотные, то ли тени неземные, то ли укор живой во плоти. И поняла бабка, что не умрет она до тех пор, пока Горюша ее не отпоет.

Но где искать внучку, если и лицо ее, и стать уже не узнать. Взяла бабка котомку, посох и пошла по деревням. Горюшу никто не знал, а Краснопевку все помнили. Но то ли она в Вытегре, то ли в Каргополье. То ли в Пудож, то ли в Мезени... Край северный мыслью не объять, а за ногами молодыми не исходить. У Краснопевки одна дорога, у бабки ее — не счесть. И тракты пыльные, и квашня весенняя, и рыхлый лед — все старухе досталось.

— Как звать тебя, бабушка? Чьих ты будешь? — спрашивают люди добрые.

— Забыла, — скажет она и заплачет.

Дадут корку хлеба, угол в хлеву. Кто лаптями одарит, чулками вязаными. Кто у печи погреться пустит. И все про Краснопевку рассказывают, про сказки ее, про былины. А пуще про то, как печаль из сердец она прогоняет.

— Хоть бы одним глазком повидать ее, — молвит старуха.

Одни скажут, что высока она и стройна, коса черная семью лентами перевязана. Другие засмеются: махонькая она, как олененок, светленькая, стриженная после тифа. Третьи головой покачают: Краснопевка — незаконная дочь царя-батюшки, оттого и прячется от глаз, берестовую личину, как скоморохи в дальние годы, носит. А кто и скажет, что вышла замуж девица за удачливого промысловика и уехала в финские земли. Поёт там в богатых домах.

Но старуха ходит и ходит по свету, все деревни стали на одно лицо. А Смерти всё нет.

Один раз на дороге встретила старичка, до того умильно улыбавшегося, что набралась смелости и спросила, не встречал ли он Краснопевку.

— Дай провожу, — взял за руку ее старик и повел в деревню. Идет следом старуха, слабеет с каждым шагом. — Смерть — часть жизни. Никто свой белый день ценить не будет, если не наступит черная ночь. Послушаешь ты ее песню и успокоишься. Готова ли?

— Готова, Смерть, — сказала старуха, и ноги ее подкосились.

Рухнула странница у чужого порога. Почуяла только, как чужие руки внесли ее в избу, увидела яркое крыло свечи и услышала хрустальный голос внучки.

*— Не шуми, мати, зеленая дубравушка,
Не мешай мне, горемыке бесприютной, думу думати.
Что завтра мне назначено в допрос идти
Перед грозным судьей самим царём,
Перед грозным судьей да безжалостным,
Перед батюшкой родимым да заступником
Все грехи мои предстанут, как на торжище.
Но не боюсь я зла, потому что бог со мной.*